

Я лежу на телеге и гляжу в звездное летнее небо. Звезд много: они перемигиваются, дрожат, словно собираются сообщить мне какую-то тайну. Я настолько этим увлечена, что плохо слушаю, о чем говорит мать, лениво правя лошадей.

Да мать, наверное, говорит и не для меня, потому что произносит слова глухо, себе под нос. Скорее, говорит для того, чтобы отогнать страх (она большая трусиха, но это я знаю теперь, а тогда мне было пять лет, и казалось, что самый храбрый, самый умный и сильный человек — это мать). И ей надо слышать звук хоть собственного голоса, потому что я упорно молчу, глядя на звезды.

— Теперь только к двум ночи приедем домой, — мрачно рассуждает она, почмокивая на лошадей. — А завтра мне на совещание ехать в район, пропади оно пропадом! Акушерку бы вместо себя послать, да она, вишь, в отпуске. Как навалится одно на одно! У самой вот чирей на плече вскочил, к хирургу бы съездить — некогда! Отчет полугодовой сдавать надо, когда писать буду? Дрова вчера у председателя выпросила и себе, и в медпункт, привезти не на чем: ни машин, ни тракторов нет. Договориться бы с кем-то из шоферов...

Слышу, как мать чиркает спичкой. Я облегченно вздыхаю: теперь она замолчала надолго. Курит мать всегда сосредоточенно и молча. Мне не нравится очень эта ее привычка, но мать мне объяснила это специфической работы:

— После училища я стала работать в хирургическом отделении. А там знаешь, какие запахи на операции? Чтобы не тошнило, мне в маску клали табак, так и пристрастилась.

Я свешиваю голову с телеги. За нами бежит хозяйская собака Жулик. Не знаю, кто дал ей такое имя: собака смиренная, добрая, хоть и очень большая, всех боится, даже меня, если замахнусь на нее. Она не наша, а хозяина дома, у которого мы снимаем квартиру. Но поскольку ее никто, кроме нас, не кормит, она и бегает везде за моей матерью или бабкой. Иногда и меня сопровождает в лес или на дальний выпас, куда я часто хожу одна, несмотря на материны запреты.

Мы въезжаем в лес, и становится еще темнее, чем в поле. Нигде не видно ни огонька; иногда ухает филин, заставляя нас с матерью вздрагивать, а лошадь прядет ушами и сама прибавляет шаг.

— Вот лес проедем — и деревня, — говорит мать, и я верю ей...

В Новой Владимирке мы живем недавно: приехали из Воркуты, где жили с моим дядей, материним братом, получившим десять лет лагерей за немецкий плен.

В Воркуте нам жилось хорошо: зарплата у дяди была большая — он работал главным инженером какого-то завода. Правда, квартирка у нас была маленькая, дяде приходилось спать на раскладушке, но ему обещали в скором времени большую квартиру. Тут у матери вдруг заболела нога, образовалась рана. Чем только ни лечили — рана не затягивалась, и врачи ставили вопрос об ампутации, сказав матери, что не по ней климат Заполярья.

Когда мы приехали сюда, нога у матери перестала болеть, рана зажила, мать повеселела и с головой ушла в работу. Приходила она домой очень поздно. На ее участке было несколько деревень, а мать была человеком добросовестным: посещала всех больных на дому, обслуживала все вызовы. Часто пешком и по бездорожью. К тому времени умер мой дед, и бабушка переехала жить к нам. Она-то, бывшая учительница, и занималась моим воспитанием. Сколько душевных длинных зимних вечеров провели мы у печки с бабулей! О чем только она мне ни рассказывала! Уже учась в школе, а потом и в институте, я прочла лишь маленькую толику того, что она мне рассказывала, а читала я намного больше своих сверстников. Она пересказывала мне читанные в свое время романы, а сама тревожно прислушивалась к шагам на крыльце, поджидая с работы свою младшую, любимую дочь...

Только сейчас, с высоты своего возраста и изменившихся условий жизни, я понимаю, какой подвижницей была мать. Чувство долга, сострадание к людям заставляли ее в дождь и пургу, слякоть и снег тащиться пешком к больному, в доме которого ей иногда даже забывали предложить чаю! Редкий современный врач отважился бы на это. А тогда, в пятидесятые годы, работа на износ считалась в порядке вещей, никто не возмущался и не роптал: надо — значит, надо!

Мать часто брала меня на ночные вызовы, видно, для того, чтобы ей не было страшно: хоть и невелик от меня прок, а все живая душа рядом. Наверное, с этих ночных странствий я и полюбила путешествия...

Неожиданно мы выехали из леса, и на взгорке, на фоне звездного неба стали видны покосившиеся дома деревеньки. Лишь в одном окне горел огонек. Именно туда и направила мать лошадь.

Заслышав скрип телеги, на крыльцо выскочила заплаканная баба.

— Ой, Елена Максимовна, — запричитала она, — помирает мужик совсем. Пластом лежит, не встает! Зеленый весь и трусится.

Мать молча слезла с телеги, взяла свой, очень похожий на дореволюционный, саквояж, прошла в дом. Голосящая баба бросилась за ней, не заметив меня и чуть не пришибив дверь.

— Прекрати голосить! — прикрикнула мать на хозяйку. — Давай воды теплой, руки вымыть.

Баба кинулась к печке, вытащила ухватом чугунок с водой, мотнулась к сундуку, загрелась замком, вытащила новое красивое полотенце, подала матери. Та не спеша вымыла руки и, закатав майку больному, принялась ощупывать его живот, о чем-то тихо спрашивая.

— Воды теплой давай, — бросила она через плечо хозяйке, — да не в тазу, а в банке — желудок твоему благоверному промывать будем, ведро поганое носи к кровати.

Меня выгнала на крыльцо.

— Девчонка у меня слабая, еще начнется у нее рвота, на этого красавца глядя, — услышала я материны слова.

Я сидела на крыльце, и мне было слышно, как мужик отказывался что-то пить, а мать ругала его, покрикивала. Она не терпела упрямых. Наконец выскочила на крыльцо заревавшая баба с помойным ведром, выплеснула помой прямо у крыльца и пригласила меня в дом. Мать сидела за столом и писала рецепт. На керогазе шипели шприцы в кастрюле с водой.

— Сейчас укол сделаю, и поедем, — подняла она на меня глаза. — Поедешь завтра в райцентр, — обратилась она к хозяйке. — Хотя... — Мать скомкала рецепт и бросила к печке. — Я сама завтра в райцентре буду, куплю лекарство, а ты ко мне вечером придешь.

Счастливая хозяйка согласно кивала, теребя фартук.

Шприцы прокипятились. Мать, проделав нужные манипуляции, стянула с мужика черные сатиновые трусы и сделала ему укол. Я сидела за столом и старалась не смотреть на тощий мужицкий зад. Меня удивляло поведение больного: неужели ему двух женщин не стыдно? Вместо того чтобы натянуть поскорее штаны, мужик криво улыбнулся и прошептал:

— Спасибо.

— На здоровье, — мать хлопнула мужика по голому заду. — Больше денатурат не пей, а то не успею приехать — и похоронят тебя.

— Не дай, господи, не дай, господи, — мелко закрестилась хозяйка. — Елена Максимовна, голубушка, угостить-то тебя нечем, да и девчоночку-то. Разве пирожка.

Она кинулась на кухню и выскочила с огромным куском пирога с морковью.

— Да не надо мне ничего, — остановила хозяйку мать, но та все-таки сунула мне этот пирог в руки.

Пока мать прощалась на крыльце, пока наказывала, какой уход должен быть за отравившимся мужем, я скормила пирог Жулику. Он и этому рад, а мы с такой начинкой пироги даже с голодухи есть не будем.

— Только муку переводить — с таким дерьмом пироги печь, — говорит в таких случаях моя бабка.

Она каждое воскресенье пекла нам с матерью пироги, но только лишь с мясом или с капустой. Иногда с малиновым вареньем, если какой большой праздник. Никакой другой начинки бабка не признавала, и мы с матерью вслед за ней. Но, надо сказать, и денег на такую начинку хватало.

Не спеша выехали за деревню. Из-за деревьев поднималась луна, небо по-прежнему было звездным, и я с нарастающим восторгом смотрела вверх.

Громкий конский топот заставил нас насторожиться, Жулик тихонько тявкнул: навстречу нам по узкой лесной дороге летел всадник, охаживая коня плеткой. Еще издали, увидев нашу телегу, он закричал:

— Елена Максимовна! Я за вами! У моей Нюрки началось!

— Что это она? — спокойно сказала мать. — На две недели раньше.

— Ой, что делать-то? — не слушая мать, запричитал всадник — молодой мужик. — Тужится ведь вся. Я ей сказал: «Без Елены Максимовны не моги — я ее хоть на себе, а доставлю».

— Это уж не сзади ли себя ты хотел меня посадить? — засмеялась мать. — Я на лошади-то со времен войны не сидела, какой уж из меня теперь всадник? Ну, поехали.

Она хлестнула лошадь вожжами, та понеслась, я от неожиданности ударила головой о грядку телеги, разозлилась на мужика и его Нюрку, которая собралась что-то делать без моей матери на две недели раньше. «Не послушалась мою маму, вот и случилось плохо», — рассуждала я, сидя в трясской телеге.

Теперь было не до луны. Я сидела, крепко держась за грядку телеги, подпрыгивая на ухабах и рытвинах, буквально чуть не выпадая на дорогу. Мать, привставая, крутила в воздухе вожжами и даже пробовала свистеть, подгоняя лошадь.

Мы выскочили из леса и поехали в другую сторону от дома — в деревню к Нюрке. Хорошо, что деревня была недалеко.

Меня даже не пустили на крыльцо: оставили в телеге. Я вылезла, потирая ушибы, и села под окно на завалинку.

В доме громко кричала женщина. Иногда я слышала строгий голос матери, отдающей распоряжения молодому мужику и какой-то бабке, которая выскочила на крыльцо за жестяным тазом.

Молодой мужик пробежал из дома в сарай и пронесся мимо меня обратно с охапкой дров. Я удивилась: зачем они посреди ночи решили топить печку.

Вдруг я услышала громкий голос матери, перекрывший все шумы в доме:

— Кончай кричать, давай помогай мне.

Я подивилась материнской черствости: у незнакомой мне Нюрки болит что-то, раз она так орет, а мать заставляет ее что-то делать! Но матери никто не возразил: значит, так надо.

Через некоторое время ко мне на завалинку подсел муж Нюрки. Он крутил самокрутку, но пальцы у него дрожали, махорка высыпалась из газеты.

— Давайте, я вам помогу, — предложила я, хотя совершенно не знала, как это делается.

— Эх ты, несмышлениш, — мужик улыбнулся и прижал меня к себе.

Я с трудом вывернулась из-под его руки. Не люблю я мужиков! Вечно со своими ласками лезут!

Был у меня отчим, так все время меня в губы норовил поцеловать!

Бывало, все лицо обслонявит. Хорошо, что бабушка его выгнала и стала жить у нас. А то он мать мою сильно бил. Все лицо у нее в синяках было! Если я выйду замуж, я сама мужа буду лупить. Пусть только попробует меня тронуть, я его тут же убью! Бабушку, по ее и материным рассказам, дедушка очень боялся. У меня тоже так будет! Я всем мальчишкам сдачи даю, меня никто на улице не обижает, я сама гляжу, кого бы задеть!

Я залезла в телегу, накрылась половиком, который нам бабка в дорожку бросила, и задремала.

Меня разбудили голоса на крыльце. Мать устало сидела на ступеньке, а рядом стоял улыбающийся мужик и курил.

— Если бы в стационаре все было, — меня насторожило незнакомое слово «стационар», — ей бы клизму сделали, а тут... — Мать поднесла к лицу свои руки и поморщилась. — У тебя одеклона нет?

— Нет, — мужик выбросил сигарку и наклонился к матери. — А может, этого снова, чем руки обрабатывали?

Это было материно словечко — «обрабатывать».

— Неси, — кивнула мать.

Мужик сбегал в дом и принес бутылку с прозрачной жидкостью, закрученную газетной скруткой. Он полил у крыльца матери на руки и просительно сказал:

— Может, грамм по пятьдесят в честь крестницы? Нюрка сказала, что девчонку Леной назовет.

Мать улыбнулась:

— Я лучше крестнице погремушку куплю, а выпей ты один или вон с матерью.

На крыльце вышла прыткая старуха.

— Надо бы Анну специалисту показать, — обратилась мать к ней.

— Господь с тобой, Елена Максимовна, — отмахнулась та. — Какой такой специалист нам нужен? А ты на что? Чай, приедешь дней через несколько на девчонку-то взглянуть?

— Приехать-то приеду. Вы только мойте ребенка в кипяченой воде и пупок тщательно обрабатывайте. В медпункт придите, я вам соберу, что для новорожденного нужно.

— Отблагодарить-то тебя нечем, — старуха мяла в руках сверток. — Вот если салда кусочек, не побрезгай. Свое сало-то, борова весной кололи, прихворнул он что-то. А сало на леднике лежало, ты не думай.

— Не надо ничего, — мать устало поднялась с крыльца и пошла к телеге. — Ребенка не застудите. Гулять недели через две вынесете.

Бабка со свертком семенила за матерью. Я разозлилась на надоедливую бабку и грозно сказала:

— Не надо нам вашего сала, сказали же вам.

— А ты помалкивай, козявка, — неожиданно окрысилась старуха и бросила сверток в телегу, чуть не попав в меня.

Небо уже посветлело, звезды пропали, и только у розовеющего края мерцала яркая звезда, нахально подмигивая наступающему дню.

Мы снова ехали по лесной дороге, телега тарахтела по корням деревьев, но было уже совсем не страшно, и я смотрела сквозь деревья на блеклое перед восходом небо. Спать не хотелось, да и предутренняя сырость свежила.

Мать курила и еле-еле шевелила вожжами.

— Вот родится у тебя дочь, — вдруг заговорила она, — ты ее тоже Леной назови. Красивое имя, правда?

— Да ну их, детей этих, — лениво сказала я. — Я и жениться не буду, буду все время с тобой жить или ездить куда-нибудь.

— Нет, плохо ты решила. Каждая женщина должна выйти замуж, — сказала мать.

И только теперь, имея двух дочерей, одну из которых зовут Леной, имея красивого умного мужа, я понимаю, как это важно, чтобы рядом было крепкое мужское плечо. Теперь, когда мать умерла, я понимаю, как ей было трудно безо всякой помощи растить меня, работать и совершенно не иметь личной жизни. Все свои желания она убивала, корпя в несколько смен, даже в выходные и праздники находя себе дело.

А я все веселилась и жила для себя, не замечая ее страданий, да и не делилась мать со мной своими переживаниями. Ненадежным человеком, видно, считала.

Даже когда мать была прикована болезнью к постели, я и то ездила по туристическим путевкам на море, оставляя ее то на попечение моего мужа, то соседей. Никогда не слышала от нее жалоб, и во мне не просыпалась жалость. Я совершенно не думала о том, что мать умрет, а моя больная, беспокойная совесть останется со мной, чтобы терзать меня, чтобы напоминать о моем неисполненном дочернем долге. Я просто представить себе не могла, что мать смертна, как и все земные люди. Мне казалось, что, несмотря на болезни, она будет жить долго, и мы с ней все успеем переговорить, переделать.

Ан нет, не получилось...

ТЕТЯ ДУНЯ

От железнодорожной станции Чулково, что на Владимирщине, до села Кожино чуть более трех километров.

Сначала дорога идет через березовую рощу, которую насадил какой-то местный богач вокруг больницы для раненых, построенной в 1914 году.

Больница, кстати, до сих пор принимает больных.

Затем дорога выбегает из рощи в поля. Когда-то здесь высевали рожь и пшеницу. Колосья стояли стеной, и из-за них выглядывали любопытные васильки.

А вдали по горизонту — березовые колки.

А когда поднимешься на взгорок, открывается среди этого великолепия село Кожино с церковью и колокольной в центре и голубым глазом пруда у околицы. А если еще и день солнечный, так все краски и играют!

Погожим октябрьским утром мы с мужем подходили к Кожину.

Сюда мы приехали не просто так. На местном кладбище похоронены моя мать и ее родители. Вот их могилы мы и приехали навестить.

Меня всегда тянет в эти места. Еще зимой и ранней весной я сдерживаюсь, а когда снег стает, не нахожу себе места, пока не побываю здесь. Видимо, земля предков зовет. Мой дед, мать, многочисленные дядя и тетки — все родом отсюда — из деревни Дроково. Она была в трех километрах от Кожина, а чуть ближе к нему — деревня Клоково. Обеих деревень уже давно нет. Уезжали люди, свозили дома. Ничего от деревень не осталось, только деревья, посаженные жителями, еще долго напоминали, что здесь текла жизнь.

А недавно и деревьев не стало! Какому-то ретивому хозяйственнику они, видно, свет застили — он и велел их все бульдозером срезать! Да не

на дрова использовал столетние липы и дубы, а свалил их в пруд, бывший в Клокове.

Такую красоту погубили! Теперь вот и в больничной роще стали березы вырубать...

Черствые и глупые люди могут превратить тенистые леса в голую степь!

Об этом мы и разговаривали, придя с кладбища, с моей приятельницей в Кожине — тетей Дуней Шарагиной.

С ней я познакомилась много лет назад, еще учась в пединституте.

Я приехала в Кожино делать курсовую работу по диалектологии (есть такая наука о диалектах — местных говорах). У меня был деревенский вариант, и я приехала в родные места.

Посидели мы с библиотекарем в его книгохранилище, рассказал он мне немного об истории села. Но был он не местным, многого, что меня интересовало, не знал, поэтому и направил меня к древнему старику — местному старожилу.

Но старожил оказался не таким уж древним: в третий раз за день ушел в лес за грибами. Его жена отправила меня к тете Дуне Шарагиной, прожившей всю свою жизнь в этом селе.

Покосившаяся избенка тети Дуни была заперта, хозяйку я нашла на заднем дворе, она ловко рубила на растопку старые доски.

... О жизни тети Дуни я уже знала и как-то не задумывалась над этим, а вот нынче, когда она стала рассказывать моему мужу о своих мытарствах, я вслушалась в ее слова и подумала: «Это ведь сама история с нами разговаривает. Умрут эти старики и старухи, и некому будет сказать нашим детям: «Вот до революции»...»

А тетя Дуня рассказывала:

— Сирота я. С малых лет у барыни Медниковой при дворе жила. Стирала, варила, косила, жала. Что говорили, то и делала. А однажды меня собаки господские порвали — у барина целая свора была. Так барыня сама мои раны промыла, перевязала и не велела до выздоровления мне никакую работу исполнять. Хорошая барыня была, ласковая. Вот барин сердитый был! Что ни сделай, ко всему придерется! Но он все больше в столицах жил, так что мы при барыне. А как революция прошла, у нас в селе коммуны сделали. Прислали какого-то матроса, он и был главный коммунар. Только уж больно выпить любил, не тем Бог помяни! Напились они однажды — все коммунарское начальство — и спать в барском доме улеглись. А дом-то ночью и загорелся. Почти все они и сгорели, и барский дом с ними. Может, и вредил кто, не знаю. А только приезжало к нам начальство высокое, многих сельчан похватили, да немногие потом вернулись. А коммуны распустили.

После революции я и замуж вышла. Поздно уж вышла-то. Да уж лучше бы и не выходила совсем. Муж мой — самый бедный крестьянин в деревне был. Так-то выпивал, а после женитьбы и вовсе с пути сбился. Родила я ему друг за другом двух сынов — в 22-м и в 23-м годах. А муж вскоре напился да и повесился в сарае. И осталась с двумя сынами, Леней да Колей. Колюшка-то еще грудным был.

Ну, что делать? Давай их растить, да. Тяжело мне было, а что? И всем несладко. Робят своих я выучила. Леня-то после семилетки в ФЗУ поступил учиться, в Ленинград. А Коля-то после школы во Владимир подался, на моторный завод. Тогда еще деревня-то разбегаться начала!

У нас до революции восемьсот дворов в селе было! А сейчас всего нас

здесь семь десятков проживается, а зимой и того меньше. Одни старики да старухи. Школу начальную и ту закрыли: нет учеников. А откуда им взяться? Мы, что ли, народим? Вы вот тоже не останавливайтесь на одном — пусть дети по избе бегают, в избе радость. Кабы мой мужик не повесился, ох, сколько бы я детей нарожала! И девчонок бы побольше, матерей будущих. А то, что сыны? Ушли, и нету их. А девка, она завсегда к матери ближе. Девка — это хорошо. И на войну не возьмут, если сама не напросится.

— Как у вас с деньгами-то, тетя Дуня? — спрашиваю я.

— Ой, спасибо! Мне теперь пенсию добавили, от сельсовета дрова бесплатно привозят, да я и сама из леса какие бревнышки приношу. Только живи. Но зажились я, да.

— Что вы, тетя Дуня! — стала я ее успокаивать. — Живите дольше! Никому вы не мешаете, хлеб свой едите.

— Да незачем мне жить, — отмахнулась тетя Дуня. — Только место я занимаю. Одна я на белом свете, — обратилась она к моему мужу. — Как война началась, так и забрали обоих моих сынов. Коля-то еще успел приехать проститься, а Леня только письмо прислал. И в первый же год потеряла я их. Коля без вести пропал, а Леня на Карельском перешейке погиб. И где тот перешеек? Может, думаю, живет где мой Колька, только домой не объявляется? Жду все, а чего? Они бы уж теперь, чай, старые были? Ну-ка, сосчитайте.

Мы сосчитали.

— Да, — задумчиво сказала она, глядя в маленькое оконце на улицу. — Внуки бы у них были, а у меня — правнуки. Хоть бы один из них вернулся!

И столько тоски было в ее голосе, что у меня на глаза слезы навернулись. И я подумала: «Хорошо, что у меня дочь — ее на фронт не возьмут».

Тетя Дуня налила нам из самовара чаю, поставила в блюдечках конфеты и сахар. Подперла щеку рукой и задумалась. Потом сообщила:

— Я уж и гроб давно приготовила, уж высох на дворе. И в чем положить — все готово. А смерть все не приходит. Зажились я. А сыны-то и не пожили вволю. Может, я и за них живу?

Я стала говорить о великом назначении защитников Родины, о том, что героизм наших солдат не будет забыт в веках. Тетя Дуня согласно кивала, но чувствовалось, что слова мои ее нисколько не утешают и смерть сынов не оправдывают. Да и можно ли оправдать смерть?

Мы сходили с мужем в магазин, купили тете Дуне продуктов и заспешили на станцию.

Тетя Дуня пошла проводить нас. Высокая, худая старуха с подолом, она гордо шла по селу, держа меня под руку, и кланялась направо и налево, здороваясь с соседями.

Мы вышли за околицу. Дорога, ведущая в село, с обеих сторон обсажена липами. Это все, что осталось от господского парка.

У этих лип и остановилась тетя Дуня. Мы обнялись с ней и пошагали к станции. И пока взгорок не скрыл село, все чернела под липами высокая фигура старухи, опершейся на палку.

Я часто оглядывалась, и мне казалось, что частичка меня самой осталась под этими липами, и будет теперь коротать долгие вечера в тесной избенке с двумя большими фотографиями на стене и иконами в красном углу.